

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Беспорядки и карательные экспедиции.

* Я вступил в управление империей при полном ее, если не помешательстве, то замешательстве. Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения; все требовали коренных мер государственного переустройства, но в мечтах различных классов желательные преобразования представлялись различно. Высший класс (дворянство) был не прочь ограничить самодержавного неограниченного государя, но только в свою пользу—создать аристократическую или дворянскую конституционную монархию; купечество-промышленность мечтало о буржуазной конституционной монархии, гегемонии капитала, об особой силе русских Ротшильдов; интеллигенция, т.-е. люди всевозможных вольных профессий—о демократической конституционной монархии с мыслями *in spe* перейти к буржуазной республике (на манер Франции); рабочий класс мечтал о большем пополнении желудка, а потому увлекался всяческими социалистическими государствоустроительствами; наконец, большинство России—крестьянство—желало увеличения земли, находящейся в их владении, и уничтожения произвола распоряжения им как со стороны высших поместных классов населения, так и со стороны всех видов полиции, начиная от урядника и жандарма и переходя через земского начальника до губернатора, его мечта была самодержавный царь с идеей—царь для народа, но с признанием начал великого царствования Александра II (освобождение крестьян с землею), нарушивших священную собственность; оно склонялось к идее конституционной монархии с социалистическими началами партии трудовиков, т.-е. к принципу, по которому труд, и преимущественно физический, дает право на все.

Во всяком случае все желали перемены, все вели атаку на самодержавную власть, фигурально выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в лагерь противников самодержавия, раскололо общество на партии, внесло между ними междоусобие, и многие уже вместо нападения на самодержавную власть, на бюрократию, стали искать у нее поддержку против своих противников. Это положение держится и по настоящее время.

Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки.

8-го октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог, и 12 октября стал петербургский узел. В промежуточные и последующие дни прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. В С.-Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась.

В это время в Петербурге играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь, из евреев, который поступил для пропаганды ткачем фабрики Чешера и там носил фамилию Хрусталева.

Почти все петербургские рабочие начали беспрекословно подчиняться решениям совета. 15 октября состоялось заседание совета опять-таки в технологическом институте, при чем в совете принимали живейшее участие некоторые профессора и другие деятели вольных профессий. 16 октября, вследствие опубликования порядка открытия собрания, здания учебных заведений были закрыты для посторонней публики, заседание совета состоялось 17 октября в зале вольно-экономического общества. Число членов совета уже значительно превысило 200 человек.

В этом собрании был избран исполнительный комитет совета в составе 30 человек. 17 октября вышел исторический манифест, и того же числа поочереди в различных типографиях начали печатать «Известия совета рабочих депутатов», орган чисто революционного характера, который, между прочим, печатался в типографиях далеко не революционных органов печати.

Одним словом, к этому времени управления Трепова-Горемыкина-Коковцева и прочей братии в стране водворился полный революционный кошмар. Фактически я вступил в управление 18 октября и мог сформировать министерство, которое было способно распознать и охватить положение дела в стране, как об этом мною говорилось ранее, только через довольно продолжительное число дней. К 17 октября совет рабочих во главе с Носарем представлял в Петербурге на первый взгляд довольно значительную силу, так как его слушалась рабочая масса и в том числе рабочие типографий. Это последнее обстоятельство имело особое значение, так как таким образом газеты подпали в известной степени в зависимость от совета, ибо от рабочих зависело не только своевременное издание, но даже издание или неиздание газеты. К этому обстоятельству особенно чувствительно отнесся А. С. Суворин, редактор-издатель «Нового Времени», которое представляло собою прежде всего выгодное коммерческое предприятие и уже издавна трактовалось с этой точки зрения, несомненно, талантливым публицистом и русским человеком, который, по мере наживы денег и увеличения миллионного состояния, все более и более жертвовал идеями и своими талантами для толстеющего кармана. Человек, который начал свою публицистическую карьеру с грошом в кармане, имея уже, как оказалось после смерти его, состояние в пять миллионов рублей, за несколько месяцев до смерти сетовал на Россию в том отношении, что вот сколько он работал, и если это было бы в Америке, то он нажил бы десятки и десятки миллионов, а что он нажил только каких-то 2—3 миллиона.

После манифеста 17 октября началось разложение общественных русских масс, сознательно или несознательно, т.-е. без учета последствий желавших и требовавших фактического уничтожения неограниченного самодержавия. 18 октября совет рабочих собрался и принял решение предложить всеобщую забастовку, так как манифест не удовлетворяет рабочие массы.

Тем не менее 19 октября забастовка в Москве и других пунктах начала прекращаться, и железные дороги возобновили движение. Под этим влиянием совет рабочих депутатов уже 19 октября постановил о прекращении с 21 октября забастовки. После 17 октября происходили на улицах стычки революцио-

неров с войсками, полицией и антиреволюционерами, при этом было убито несколько человек и, между прочим, ранен в голову около технологического института профессор петербургского университета Тарле ¹⁾). Совет объявил демонстративные похороны убитых рабочих, но правительство не допустило демонстраций. Мною после 17 октября было отдано распоряжение, чтобы допускались всякие спокойные шествия по поводу 17 октября, но при малейшем бесчинстве и нарушении спокойствия демонстрации были подавляемы. Демонстрация по поводу похорон имела явную цель нарушить покой, а потому была недопущена. Вообще, в Петербурге через несколько дней после 17 октября водворилось спокойствие, и в течение шестимесячного моего пребывания во главе правительства я не вводил никаких экстраординарных мер по управлению Петербургом и его окрестностями, не было ни одного случая применения смертной казни. Все это было введено впоследствии, когда Столыпин начал фактически уничтожать 17 октября. В других же местностях России по поводу демонстраций 17 октября происходили смуты. Так в Кронштадте вспыхнули беспорядки 26-го и были подавлены 28 октября. Кронштадт, как город морского ведомства, был особенно революционирован. Смута, более нежели в других частях войск, внедрилась между моряками, а потому еще до 17 октября военными пронунциаментами выражалась в среде моряков в Севастополе и отчасти в Николаеве и Кронштадте. Этот революционный дух внедрился между моряками вследствие дурного управления морским начальством и вследствие того, что вообще в моряки поступают более развитые части населения, легче подвергающиеся революционированию, а тогда этому процессу подвергались громадные массы населения.

Затем, после 17 октября, во всей России появились демонстрации радости, которые вызывали контр-демонстрации со стороны шаек так называемых черносотенцев. Они были названы черносотенцами вследствие их малочисленности и были составлены преимущественно из хулиганов, но так как они находили в некоторых местах поддержку со стороны местной власти, то скоро начали возрастать, и дело иногда переходило в погромы преимущественно, если не исключительно, евреев.

С другой стороны, так как крайние левые также остались недовольны недостаточною демократичностью 17 октября и тоже бесчинствовали и не встречали достаточного нравственного отпора со стороны всей либеральной части общества, то вскоре

¹⁾ См. стр. 81.

и хулиганы правые, т.-е. черносотенцы, начали получать поддержку в административных властях, а затем и свыше.

Великий князь Николай Николаевич, вырвавший с револьвером, грозя себя застрелить, манифест 17 октября, уже через несколько недель после 17 октября конспирировал с известным вождем черносотенных хулиганов, доктором Дубровиным, относительно принятия мер для обезврежения 17 октября.

Покуда же я был во главе правительства, я старался этого не допускать, после моего ухода наступило время Столыпина, а затем переворот 3-го июня, и тогда Столыпин совсем уперся на черносотенцах и на Дубровине, а когда в 3-й Думе явилась партия так называемая октябристов, которая играла у Столыпина роль, которую сперва играли черносотенцы, то брат Столыпина, публицист, содержимый «Новым. Временем» преимущественно в качестве брата премьера, не стеснялся в газете сказать по адресу Дубровина: «Мавр, ты сделал свое дело, теперь ты мне больше не нужен, уходи вон» (подлинную фразу Шекспира не помню).

Немедленно после 17 октября во многих местах местные администраторы совсем спасовали, а потому допустили беспорядки и погромы вследствие трусости и растерянности. Так было в Москве с генерал-губернатором Дурново, в Киеве с генерал-губернатором Клейгельсом, в некоторых других пунктах и особенно в Одессе, где градоначальником был Нейдгардт, мною уволенный и затем выплывший на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены. Затем еще при генерале Трепове и Рачковском завели при департаменте полиции типографию для фабрикации погромных прокламаций, т.-е. для науськивания темных сил преимущественно против евреев.

Эта деятельность мне была открыта Лопухиным ¹⁾ (бывшим директором департамента полиции, ныне находящимся в ссылке в Сибири) и мною ликвидирована. Но на местах она продолжалась, так при мне в Гомеле был устроен погром евреев посредством провокации жандармской полиции и, когда я открыл эту позорную историю и довел до света, то на мемории по этому делу, конечно, не без влияния министра внутренних дел Дурново, его величество соизволил написать, что эти дела не должны быть доводимы до его сведения (вероятно, по маловажности?)...

После прекращения забастовки в Петербурге с 27-го октября рабочие некоторых заводов начали вводить насильственно

¹⁾ См. стр. 67—68.

восьмичасовой рабочий день. Совет рабочих чувствовал, что он теряет свой престиж между рабочими. 1 ноября он постановил привести в исполнение вторую забастовку, выставляя необходимость этой меры, как демонстрации против введения в Царстве Польском военного положения и действия правительства по подавлению беспорядков в Кронштадте. Я узнал об этом ночью и дал рабочим через администрацию нескольких заводов телеграмму, предупреждая рабочих, чтобы они перестали слушаться лиц, явно ведущих их к разорению и голоду. В телеграмме этой я употребил, обращаясь к рабочим, необыденное в подобных случаях от сановника и главы правительства слово, что я им даю совет товарищеский. Это слово подхватили некоторые газеты, в том числе и «Новое Время», и начали над ним издеваться, а вожаки рабочих, имея в виду влияние, которое моя телеграмма произвела на рабочих, совсем освирепели.

Тем не менее, забастовка не удалась, рабочие перестали слушать совет и своих вожаков, и поэтому 5-го ноября совет рабочих постановил прекратить забастовку.

Вообще, с 7-го ноября везде прекратились забастовки, и государь император 7-го ноября, между прочим, мне писал: «Радуюсь, что бессмысленная железнодорожная стачка окончилась, это большой нравственный успех правительства».

Со своей стороны добавлю, что это был непосредственный результат 17-го октября, и что забастовки эти и все беспорядки были заведены до 17-го октября, когда я был не у власти, во время министерства Трепова-Булыгина-Коковцова и *tutti quanti*.

Когда фабриканты увидели, что правительство после 17-го октября приобретает нравственный авторитет и силу, то они объявили рабочим, что не будут платить им деньги за прогульные дни и рассчитывать их в случае неподчинения установленному рабочему времени, и они начали широко применять эту меру. Тогда рабочие увидели, что их советники им советовали неразумно, что им на своих плечах или, вернее, на желудках своих и своих семейств приходится расплачиваться за эти советы. Совет рабочих 13 ноября снова обсуждал предложение объявить забастовку, но она была отвергнута; точно так же совет был вынужден постановить «в р е м е н н о» прекратить захватное введение восьмичасового рабочего дня. С этого времени значение совета рабочих депутатов начало стремительно падать, а революционная организация проявлять разложение.

Тогда я нашел своевременным арестовать Носаря 26 ноября. Вместо Носаря был выбран советом президиум из трех лиц, совет не собрался, а собрался лишь секретно президиум. Я имел намерение арестовать Носаря ранее, но мне отсоветовал Литви-

нов-Фалинский (ныне управляющий одним из отделов [департаментов] главного управления торговли и промышленности), находя, что нужно выждать, когда рабочие будут рады этому аресту, т.-е. когда Носарь и совет потеряют всякий престиж, дабы напрасно не иметь столкновения, может быть и кровавого, с рабочими. Этот совет Литвинова был, по моему мнению, вполне благоразумным.

После ареста Носаря я распорядился арестовать весь совет, что Дурново исполнил лишь 3 декабря. Дурново опасался, что, если он начнет арестовывать членов совета врозь, то они разбегутся, и ожидал собрания. Совет же боялся собраться, а как только он собрался 3 декабря в вольно-экономическом обществе, он был арестован в числе 190 человек.

После ареста Носаря совет возбуждал вопрос о забастовке, как протесте против ареста, но это осталось без всякого влияния на рабочих. Таким образом окончилась история с советом рабочих и его вожаком Носарем, так раздутая прессою, так как эти забастовки, касаясь типографских рабочих, касались и ее карманов.

Конечно, между деятелями прессы было много лиц, принципиально сочувствовавших «революции рабочих», но это были бессеребряные журналисты, большею частью фантазеры. Во все времена всегда революция рождает таких идеалистов-фанатиков.

Со времен 1905 года более серьезных забастовок в России не было. Бывшая революционная забастовка научила кой-чему рабочих, а именно, что нужно очень скептически относиться к являющимся со стороны вождям, вроде Носаря, часто ведущим их к большим потерям. Она научила и промышленников, которые несколько улучшили положение рабочих. Она научила и правительство, которому, наконец, удалось, несмотря на возражения, хотя и скрытые за спиной других, некоторых представителей промышленности в Государственном Совете и Думе провести в этом году закон о страховании рабочих, закон, который был предрешен в Государственном Совете около двадцати лет тому назад, когда я был министром финансов, и все время встречал скрытую обструкцию. Но, повидимому, она не научила жандармскую и секретную полицию, так как жандармский офицер, некий Терещенко (что-то в этом роде), в этом году расстрелял более двухсот человек рабочих на Ленских приисках, рабочих, которые добивались улучшения своего невозможного положения путями мирными и после многолетнего испытания их терпения. Повидимому, вся местная администрация этого богатейшего золото-промышленного общества была прямо или косвенно на содержании общества и мирволила его эксплуататорским аппетитам.

Министр же внутренних дел Макаров (которого при дворе зовут честным нотариусом), представив по этому случаю в Думе самые натянутые и фактически неверные объяснения, закончил свою речь, оправдывая совершенные полицией массовые убийства, безобразным восклицанием: «Так всегда было, так и будет впредь».

Конечно, не нужно быть пророком, чтобы сказать, что если так было (хотя это было раз при истории Гапона, созданной министерством внутренних дел Плеве), то так долго не будет впредь, ибо такой режим, где подобные боины возможны, существовать не может, и 17 октября есть начало конца такого режима. Несомненно, что никакое правительство не может допустить бунта и неповиновения закону. В этом случае проявление силы должно быть подавлено силою же, но правительство не может бездействием власти, подкупным мирволением эксплуататорских бесовестных инстинктов, провокаторством возбуждать рабочих и доводить их до забвения и отчаяния. Такое правительство в XX веке долго существовать не может, оно искрошится!

Кроме забастовки рабочих на фабриках и заводах и железных дорогах, в ноябре 1905 года разразилась совершенно неожиданно забастовка на правительственном телеграфе. Эта забастовка причинила наибольший ущерб действиям правительства, так как лишала правительство возможности делать распоряжения. Замечательно, что министр внутренних дел Дурново, который ранее долгое время управлял почтами и телеграфом, совсем этой забастовки не ожидал.

Что касается беспорядков в армии и флоте, то я уже по этому предмету имел несколько раз случай говорить. Они начались во время войны вследствие крайней нерегулярности оной и постыдного ее ведения. Особенно резко они выражались во флоте. Крейсера черноморского флота, взбунтовавшись, бомбардировали Одессу. Один крейсер дезертировал в Румынию. Этих фактов достаточно, чтобы судить о состоянии флота.

В сухопутных войсках вся мобилизация происходила при полном неподчинении новобранцев начальству. В некоторых случаях происходили возмутительные сцены нарушения элементарных правил воинской дисциплины. Революционный дух сперва проник в войска, оставшиеся в России, а потом перескочил в действующую армию. После 17-го октября настроение в войсках продолжало быть беспокойным вследствие того, что не отпускали призванных на время войны. Я настоял на их роспуске, так как призванный элемент развращал здоровый организм войсковых частей. Эта мера значительно уменьшила количество войск в России, и без того значительно уменьшенное

вследствие ухода большей части войск за Байкал в действующую армию, но зато положила предел дальнейшему революционированию армии.

После 17-го октября происходили некоторые беспорядки в одном из полков, находившемся в Москве (вообще войска; оставшиеся в Москве, были очень распушены), а равно в Петербурге с одним морским баталионом. Об этом я имел случай говорить ранее. Происходили также беспорядки в черноморском флоте, и вследствие бунта в одной части, некоторые моряки и в том числе лейтенант (или гардемарин, не помню) Шмидт был расстрелян. По поводу расстреляния Шмидта, когда его осудили, то ко мне явился его защитник, известный присяжный поверенный и затем член Думы (депутат первой Думы от Одессы, Пергамент) и честным словом уверял меня, что Шмидт помещанный, и что его нужно не казнить, а поместить в сумасшедший дом. Так как все это дело касалось морского министерства, Шмидт судился на точном основании общих морских законов, то я счел возможным лишь довести заявление его до сведения его величества. Государь изволил мне сообщить, что он уверен, что если бы Шмидт был сумасшедшим, то суд это констатировал бы.

В общем, после 17-го октября в войсках все успокоилось. Должен сказать, что государь, с своей стороны, делал все от него зависящее, чтобы влиять на это успокоение, а именно, он все время старался и ныне старается общаться с войсками и не стеснялся делать *frais de sa personne*. К сожалению, мне кажется, что и теперь у нас нет правильного военного управления и нет в достаточном числе военачальников на высших постах и едва ли существующая система способствует тому, чтобы соответствующие военачальники обнаруживались. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно было бы войти в обширные объяснения, которые здесь были бы не у места.

Что касается крестьянских беспорядков, то скажу о них только несколько слов. Борьба с крестьянскими беспорядками было очень трудно потому, что не было ни в достаточном числе сельской полиции, ни войска. Что касается полиции вообще и, в частности, сельской, то за время шестимесячного моего управления была значительно увеличена и организована как городская наружная полиция, так и сельская созданием конной полицейской стражи. Но в самый разгар беспорядков полиция не было в некоторых местах, и даже в Москве полиция не была вооружена. Полицейские приходили на посты с одним револьверным чехлом и передавали друг другу бессменный револьвер, однозарядный и часто совсем не стреляющий. Войск во многих местах совсем не было. Это происходило отчасти

оттого, что войска были на Дальнем Востоке, а отчасти оттого, что вообще дислокация войск в России со времени графа Милютина была такова, что войска были стянуты на границы, а внутри России их почти не было. Это в сущности и должно быть, если иметь в виду, что войска служат для борьбы с внешним врагом, а не населением¹⁾. Эта мысль была подхвачена, и нашлись военные, которые начали уверять и писать записки, что для военных целей желательнее отодвинуть войска от границы. Под страхом внутренних волнений эта мысль года два тому назад и была приведена в исполнение. Со времен Милютина более тридцати лет сосредоточивали все военные силы на западной границе (преимущественно в Царстве Польском). А тут вдруг взяли, да значительное число этих войск отодвинули в центр России. Франция сделала по этому поводу гримасу, но ее начали уверять, что ей выгодно, и она сделала вид, что этому верит, а Вильгельм, конечно, потирает себе руки. Это большая бескровная победа немцев...

Таким образом, центральная и восточная Россия были почти совсем оголены от войск. Явилась мысль, которую я находил во всяком случае не бесполезною, чтобы в губернии с наибольшим брожением были командированы генерал-адъютанты его величества, дабы они своим присутствием могли повлиять на успокоение крестьян, а с другой стороны, ободрить местную администрацию и, в крайности, принять экстраординарные меры.

Это были лица, посылаемые от имени его величества. Таким образом были посланы генерал-адъютант Сахаров в Саратовскую губернию, генерал-адъютант Струков в Тамбовскую и Воронежскую, а генерал-адъютант Дубасов в Черниговскую и Курскую. Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честный человек, но неспособный ни на какие жестокости, был убит в кабинете губернатора Столыпина (ныне премьера), которого в то время анархисты не думали убивать, так как он тогда считался либеральным губернатором, во всяком случае не жестоким.

В сущности говоря, Сахаров и был послан в Саратовскую губернию, как губернию, объятую смутю, с которой не мог справиться Столыпин. Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты, теперь, после того, как он перестрелял и перевешал десятки тысяч человек и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армиею сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год.

Струков ничем себя в эту поездку не проявил. Он человек, несомненно, высоко-порядочный, хороший кавалерист, но бесцвет-

¹⁾ * После моего ухода Столыпин бросил мысль, что для спокойствия в России и во избежание крестьянских беспорядков нужно, чтобы было больше войск внутри России, дабы усмирить крестьян войсками*.

ный. Ко мне поступали лишь донесения, что он сильно пил и даже в компании телеграфистов, что вынудило министра внутренних дел Дурново войти относительно Струкова в словесные сообщения с министром двора, начальником главной квартиры бароном Фредериксом.

Дубасов действовал в Черниговской и Курской губерниях с кучкою войск весьма энергично и не вызывал нареканий ни с чьей стороны. Хотя крестьянские волнения на него, видимо, произвели сильное впечатление, так как в бытность его несколько дней, во время этой командировки, в Петербурге, он мне убежденно советовал провести закон до созыва Государственной Думы, по которому те земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними, и на мое возражение против такой меры он мне говорил: «Этим крестьян успокоите и помещикам будет лучше, так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных землевладельцев».

Я привожу этот факт как иллюстрацию того настроения, которое тогда торжествовало в самых консервативных сферах. Никто Дубасова не заподозрит ни в физической, ни в моральной трусости. Если он предлагал такую крайнюю и несвоевременную меру, то потому, что был убежден в ее целесообразности и неизбежности.

Дубасов, конечно, себя отлично держал в Черниговской и Курской губерниях, где крестьянские беспорядки достигли едва ли не наибольших пределов. Он всюду появлялся сам с горстью войск, справлялся с бунтующим крестьянством, отрезвлял их и достиг почти полного успокоения.

Когда я вступил в управление, армия в России была материально и нравственно совершенно расслаблена. Материально она была расслаблена не только вследствие того, что более миллиона солдат находились вне России, но и потому, что то, что осталось в России, даже гвардейские петербургские части, были обобраны, там были взяты солдаты, там офицеры, там специальные части, наконец, обобраны части почти везде интендантские, артиллерийские, крепостные и медицинские запасы и даже вещи, находившиеся на руках. Нравственно потому, что ныне, при общей воинской повинности, недовольство в России не могло не коснуться и войска, куда также проникали самые крайние идеи, оправдывающие эксцессы до революционных актов включительно.

Оскорбление, нанесенное разгромом нашей армии, вследствие ее неготовности в безумной и ребячески затеянной войне, было, конечно, еще более чувствительно для всякого военного, нежели для лиц, не имеющих чести носить военный мундир.

После ратификации Портсмутского мирного договора, с объявлением мира, согласно закону, надлежало отпустить тех нижних чинов и вообще военных, которые призваны были под знамена только на время войны, а тот элемент был наиболее неспокоен и приводил в брожение как армию, находившуюся за Байкалом, так и военные части, оставшиеся в России.

Мне предстояло высказаться немедленно после 17-го октября, какое принять решение относительно всех воинских чинов, которые по закону должны были бы быть отпущены—отпустить ли их немедленно или, в виду неопределенного положения, ожидать возвращения хотя части действовавшей армии. Так как мне было очевидно, что вновь набранный военный элемент на время войны, вследствие того, что он не отпускается с окончанием оной, служит самым главным проводником революционных идей в армии, то я не только высказался за то, чтобы этот элемент был отпущен, но просил, кроме того, сделать это скорее.

Как только все офицерские и нижние чины, набранные на время войны, были отпущены, сравнительно небольшая часть армии, оставшаяся в России, еще значительно численно уменьшилась, но зато избавилась от разлагающего ее состава, который мог привести к непрерывным военным бунтам.

Таким образом Россия была почти оголена от войск; сравнительно достаточное количество войск было лишь в Варшавском, кавказском, петербургском военных округах, но командующие войсками этих округов войск не давали, или давали с крайними затруднениями, что отчасти объясняется весьма тревожным положением на Кавказе и в Царстве Польском.

Внутри России совсем войск не было, при чем войска везде были совершенно дезорганизованы совокупностью сказанных причин. Военное начальство само не знало, сколько где войск. Я помню, например, такие случаи: вследствие крестьянских беспорядков, после долгих усиленных требований, наконец, куда-либо высылается батальон или рота солдат. Тем не менее, требование местной администрации продолжается. Мы телеграфируем, что ведь туда выслан батальон или рота. Отвечают: никакого батальона или роты не приходило, а пришло 48 или 12 человек. Говоришь военному министру. Он отвечает: как оказывается, батальон или рота теперь находится именно в таком составе впредь до возвращения соответствующих частей из действующей армии, или ежегодного обыкновенного призыва новобранцев. Таким образом воинские части, находившиеся в России и не принимавшие участия в войне, потеряли значительную часть своего состава, точно были на войне и участвовали в сражениях, причем военное министерство не знало, какая часть оказалась в каком именно действительном составе. Мне объяснили, что все это произошло от крайне необдуманных распоряжений генерал-

адъютанта Куропаткина, не столько как главнокомандующего, но преимущественно как военного министра. Он с начала войны не ожидал, хотя возникновению ее способствовал, поэтому должен был собрать армию внезапно, а затем рассчитывал, что для войны нужно будет только 300—400 тысяч человек. Поэтому сбор армии производили без всякой заранее обдуманной системы. Думали немедленно затушить пожар маленькой струей воды, воду все подавали и подавали, а пожар именно вследствие малой, хотя продолжительной струи, к тому же пускаемой бездарным брандмейстером, не потушили. Мне его пришлось потушить в Портсмуте.

Великий князь Николай Николаевич никакого затруднения к роспуску набранных на время войны воинов не сделал. Все вошедшие в войска на время войны и подлежавшие или желавшие оставить их с окончанием оной наделали еще большие затруднения в действующей армии. С объявлением мира общее желание всех европейских воинских частей манчжурской армии было скорее вернуться во-свояси, а те, которые к тому же, возвратившись, считали себя в праве быть отпущенными, стремились домой еще усиленнее. Это общее положение поджигалось самыми невероятными слухами о том, что делается в России.

В Манчжурии знали, что вообще в России неспокойно, что смута, начавшаяся еще до войны, во время ее все усиливалась и усиливалась. Затем, когда в сентябре и октябре 1905 года беспорядки участились и распространились на большие пространства, явились забастовки и, вследствие забастовок почты и телеграфа, целыми неделями перестали получаться в армии сведения, достойные какого-либо доверия, то там начали распускаться самые невероятные сведения. Так, государь сам мне говорил, что князь Васильчиков (затем в кабинете Столыпина впоследствии занимавший пост министра земледелия, а во время войны бывший главноуполномоченным Красного Креста в действовавшей армии), возвращаясь после заключения мира в Россию, до самого Челябинска не знал точно, что в ней делается, и ожидал, судя по рассказам, приехавши в Россию, не застать уже в ней царскую семью, которая будто бы бежала за границу, а меня с моими коллегами по министерству ожидал увидеть на Марсовом поле висящими на виселицах. Такая всюду за Челябинском ходила молва.

Я не знаю, найдется ли между военными, бывшими в действующей армии, лицо, которое правдиво и точно опишет то революционное настроение, в котором после 17-го октября пребывала действующая армия. Мне известно то настроение, в котором она находилась, со стороны, но на довольно высокой позиции

премьера министерства. Я вынес то глубокое впечатление, что армия после 17-го октября находилась в весьма революционном настроении, что многие военачальники скинули и спасовали не менее, нежели некоторые военные и гражданские начальники в России, что армия была нравственно совершенно дезорганизована и что шел поразительный дебош во многих частях, возвращавшихся в Россию, до тех пор, покуда ему не был положен, по моей инициативе, предел посредством карательных экспедиций генералов Ренненкампа и Меллера-Закомельского и смены главнокомандующего генерала Линевича.

То, что творилось в России, не скрывалось, а то, что было в действующей армии—скрывалось и скрывается еще и теперь, чтобы не порочить действующую армию и ее порядков, чтобы не набрасывать тень вообще на военных. По моему мнению, это ложный и вредный особого рода патриотизм. Русская армия имеет свою доблестную историю, и история эта останется вечно в военных анналах, как пример, достойный подражания.

Чтобы не повторилось то, что случилось в последнюю Японскую войну, необходимо, чтобы компетентные военные свидетели раскрыли те язвы в действующей армии, которые одно время совершенно ее революционировали.

Язвы эти, главным образом, коренились в общем начальствовании. Конечно, забайкальская армия была заражена из России, но затем настало время, когда Россия начала успокаиваться, а армия все больше и больше волноваться. и я месяца через два после 17-го октября письменно докладывал государю, что теперь идег обратная революционная волна не с запада на восток, а с востока на запад, и уже действовавшая армия заражается не из России, а скорее, что Россия может заражаться некоторыми элементами, возвращающимися вместе с действующей армией.

Еще до 17-го октября явились тревожные сведения относительно состояния умов манчжурской армии, которые дали повод министру земледелия Шванебаху внести в комитет министров представление об особо льготной раздаче казенных земель Сибири нижним чинам действующей армии, кои пожелают не возвращаться в Европейскую Россию. Кому пришла эта оригинальная мысль, самому Шванебаху, прельстившему ею государя, или он взял на себя ее проведение потому, что проведение ее было желательно его величеству, я не знаю, но представление Шванебаха слушалось в комитете министров в заседании под моим председательством уже по возвращении моем из Америки, следовательно, по заключении Портсмутского мира, но до 17 октября.

Конечно, комитет министров отклонил от себя это оригинальное представление, рекомендовав обратиться, так как это

дело законодательного характера, в Государственный Совет. При слушании этого дела в комитете, тем не менее, г. министру земледелия пришлось заслушаться по поводу существа этого проекта много горьких, относительно его представления, истин. Это было одною из причин, которая, вероятно, дала повод Шванебаху после 17 октября, когда я был назначен председателем совета министров, подать помимо меня его величеству прошение об увольнении от должности министра земледелия.

В первые недели после 17 октября, как только Портсмутский мирный договор был ратифицирован, вся манчжурская армия пожелала скорее возвратиться домой, и то, что сделалось на Восточно-Китайской дороге с отправкою войск, производило на меня, судя по доходящим сведениям, впечатление, подобное тому, какое получается на наших русских дорогах, когда иногда дачная нагулявшаяся публика, возвращаясь на ночь домой, берет чуть ли не с боя место в поезде. Все беспорядочно спешили домой, а забастовка на железных дорогах вообще и специально на великой Сибирской дороге прерывала и замедляла железнодорожное движение. Это еще больше обостряло смуту в действующей армии. Забастовка вообще на железных дорогах имела последствием замедление месяца на $1\frac{1}{2}$ —2 обыденного осеннего сбора новобранцев, а следовательно пополнение всех воинских частей, забастовки же и беспорядки на всем сибирском пути от Волги до Владивостока совершенно обеспорядочили действующую армию и возвращение ее через это замедлилось на несколько месяцев. Таким образом оголенное от войск состояние Европейской России продлилось на несколько месяцев дольше сравнительно с тем положением, которое получилось бы, если бы не было железнодорожной забастовки вообще и, в особенности, если бы не было забастовки и беспорядков на сибирских путях. Одно время сибирские железные дороги находились в руках не правительства, а каких-то самозванных сообществ и банд, во всяком случае они не подчинялись правительственной власти. Они распорядились движением, хотели—возили, хотели—нет. Так как революционеры скоро сообразили, что войска действующей армии революционируют только, покуда не доплетутся до России, а, добравшись до нее, те воинские чины, которые отбыли воинскую службу, возвращаясь к своим занятиям, делаются спокойными, а самые войсковые части, прийдя в свои штаб-квартиры, являются оплотом порядка, то были направлены вследствие этого все усилия к продлению забастовок на сибирских дорогах.

Казалось бы, что в действующей армии должна существовать железная дисциплина, что начальство в своих действиях не стеснено, а потому может и должно поддерживать порядок, присущий армии, находящейся в военном положении в чужой стране. Между тем дисциплина там расшаталась еще более, нежели

в России. и главнокомандующий действительно обратился в «папеньку», как его называли в войсках.

Тамошнее настроение войск многих даже заставляло опасаться их возвращения в Европейскую Россию, боялись, что войска вернутся и совершат военную революцию. Я же был уверен, что, вернувшись на родину, они явятся элементом порядка и, в случае нужды, водворят порядок, так как они пожелают видеть Россию крепкою и сильною, дабы она вновь, если окажется нужным, могла на поле брани восстановить свой исторический престиж.

Через несколько дней после 17 октября как-то я получаю телеграмму от главнокомандующего Линевица приблизительно такого содержания: «В действующую армию прибыло из России 14 (хорошо, именно, помню эту цифру—четырнадцать) анархистов-революционеров для того, чтобы производить возмущение в армии». Это была единственная телеграмма, которую я в свою жизнь получил от Линевица, точно так, как я никогда в жизни не получал от него ни до Портсмута, ни после Портсмута никакой бумаги официального или частного характера. Сказанную телеграмму я представил его величеству и получил ее обратно с резолюцией: «Надеюсь, что они будут повешены». Я сообщил об этом военному министру. Телеграмму же с резолюцией государя я вернул его величеству после оставления мною поста председателя совета вместе с другими бумагами.

Железнодорожное сообщение по Сибирской и Восточно-Китайской железным дорогам часто прекращалось или производилось с перерывами, войсковые части на пути производили беспорядки, а затем забастовки в телеграфе еще больше мешали составить себе понятие о размерах хаоса в действующей армии, а время шло, войска не возвращались и отсутствие войск в России существенно осложняло как внутреннее, так и международное положение России. Я многократно об этом говорил великому князю Николаю Николаевичу, военному министру и пачальнику генерального штаба, генералу Палицыну. Они совершенно справедливо ссылались на начальство действующей армии и на необходимость сменить генерала Линевица.

При таком положении вещей необходимо было принять решительные меры. Вследствие сего я решился принять на себя инициативу в этом деле. Я написал государю, что так продолжать опасно. Опасно оставлять Россию без войск и опасно оставлять войска в Забайкалье, где они постепенно деморализуются. Я предложил такую меру: выбрать двух решительных и надежных генералов, дать им каждому по отряду хороших войск и снарядить два поезда, один из Харбина по направлению в Россию,

а другой из России по направлению к Харбину, и предложить этим начальникам, во что бы то ни стало, водворить порядок по Сибирской дороге и открыть на ней правильное движение, при чем я предполагал начальником отряда по направлению из Харбина назначить бывшего главнокомандующего генерала Куропаткина, имея в виду этим назначением дать ему возможность выказать свою распорядительность.

Государь сейчас же ко мне прислал начальника генерального штаба Палицына, дабы я с ним уговорился и привел эту меру в исполнение. Палицын мне сказал, что его величество выбор Куропаткина не одобряет, так как на него не надеется. Палицын предложил мне начальником отряда назначить генерала Ренненкампа, а начальником отряда из Европейской России назначить генерала Меллер-Закомельского.

Я этих генералов до того времени не видел, но слышал о них, как о людях решительных. Все с Палицыным было условлено. Явился вопрос, как распорядиться относительно поезда из Харбина, так как там железнодорожный телеграф был в руках забастовщиков. Решили дать телеграмму через Лондон и Пекин. Таким образом поезда были организованы и отправлены.

Генерал Меллер-Закомельский перед выездом виделся со мною. На вопрос его, какую я ему дам инструкцию, я ответил: во что бы то ни стало открыть движение по дороге и восстановить правильную эвакуацию действующей армии в Европейскую Россию. Такая же инструкция по телеграфу дана генералу Ренненкампу. Оба эти отряда двинулись, съехались в Чите, исполнили заданную им задачу, но дело не обошлось без жертв. Дорогою оба генерала с десятков лиц расстреляли, некоторых арестовали, а генерал Меллер-Закомельский нескольких служащих (телеграфистов) за ослушание выдрал.

Движение скоро было восстановлено, началась правильная и быстрая эвакуация войск из Манчжурии в Европейскую Россию, и к тому времени, когда я подал прошение об отставке, значительная часть армии уже была в России. Дранье же генерала Меллер-Закомельского, вероятно, наверху очень понравилось, и когда я ушел из премьерства, его назначили временным генерал-губернатором в Прибалтийские губернии вместо генерала Соллогуба, весьма почтенного и культурного человека, отличного военного, назначенного на пост при мне и по моему указанию. Теперь (18 ноября 1911 г.) он в отставке и состоит членом правления Восточно-Китайской дороги.

Для характеристики, какое было тогда время, привожу следующий факт. Мой зять Нарышкин с женою и моим внуком Львом Кирилловичем Нарышкиным, которому тогда было не

более года, служил в миссии в Брюсселе. Когда Ренненкампф доехал до Читы и несколько вожаков революционеров были осуждены к смертной казни, то моя жена в тот же день получила от русских эмигрантов в Брюсселе депешу, что если сказанные революционеры будут в Чите казнены, то сейчас же моя дочь и внук будут ими убиты. Жена пришла ко мне в слезах с этой телеграммой, и я ей сказал, что если бы они не стращали, то, может быть, я бы о них ходатайствовал, но теперь этого сделать не могу. Революционеры были казнены.

Этот факт, тем не менее, показывает, что деятели революции даже в Чите находились тогда в довольно определенных связях с русскими деятелями той же партии за границею, а равно характеризует то трудное время, которое мы переживали. Одновременно было решено сменить главнокомандующего Линевича.

Вдруг великий князь Николай Николаевич мне говорит, что он рекомендовал назначить вместо Линевича генерал-адъютанта барона Мейендорфа, почтеннейшего и прекраснейшего человека, но по свойствам своим еще более неподходящего, нежели Линевич; я рекомендовал генерала Гродекова, члена Государственного Совета, который и был назначен; он восстановил в армии порядок и совершил эвакуацию действующей армии из Манчжурии.

Это было в конце 1905 года или в начале 1906 года, с тех пор я его встретил только в прошлом году (1908 г.) в Государственном Совете; из действующей армии он был назначен генерал-губернатором в Туркестан (после Субботича), там не поладил с великим князем Николаем Николаевичем и вернулся в Государственный Совет. Встретивши меня в Государственном Совете, он спросил меня:

— Оправдал ли я вашу рекомендацию в действующей армии?

Я ответил, что, по моему, мою рекомендацию он вполне оправдал.

Полный недостаток войск в Европейской России в виду раскинутых на громадном пространстве крестьянских беспорядков усугублялся несоответствующей данному положению вещей дислокацией войск. Везде, где появлялись войска, в деревнях становилось спокойно, а где их не было, являлись то там, то в другом месте беспорядки. Как только явилась надежда, вследствие восстановления правильного движения на железных дорогах, быстрого пополнения войск нормальным сбором новобранцев и возвращающимися войсками действующей армии, я возбуждал вопрос об изменении дислокации войск, и его величество

24 декабря 1905 года поручил это дело особому совещанию под моим председательством, при участии великого князя Николая Николаевича, военного министра, его помощника Поливанова, генерала Палицына и министра внутренних дел. Совещание это немедленно состоялось, и в нем были выработаны основания новой дислокации войск, и определен порядок действия войск в случае местных восстаний. Была проведена та основная мысль, которой я всегда держался, начиная с 17 октября: в случае восстания отвечать силою силе и, в таком случае, всякие нежности должны быть оставлены в стороне. Но раз нет восстания, раз порядок восстановлен, то немедленно должен быть введен нормальный порядок. Казнь огульная полевыми судами через месяцы и годы после преступления, т.-е. то, что творится уже три года со времени оставления мною премьерства до сего времени, представляет собой бессмысленную жестокость, и я был бы рад, если бы мое предчувствие, что за эту кровь жестоко будут наказаны виновные и, конечно, прежде всего главный виновник, оказался ошибочным...

Особенно сильно разразились аграрные волнения в прибалтийских губерниях. К этому были многообразные причины и, пожалуй, главнейшая та, что правительство в последние десятки лет, с целью руссифицировать край, устраняло и даже преследовало то, что составляло там культуру, созданную интеллигентным классом балтийских немцев, преимущественно дворян, не создавая ничего прочного русского, т.-е. не вводя ничего иного взамен этой, как бы там ни было, но древней и развитой культуры.

Край этот, как известно, состоит из низшего класса крестьян-латышей и высшего—немцев; вот, чтобы руссифицировать край, наше правительство начало руссифицировать низший класс, вытравляя из него то, что было ему привито немецким дворянством, а так как русская школа и вообще свободная литература в последние десятки лет почти сплошь дышала характером освободительным, то естественно руссифицирование латышей вместе с тем натравливало их на немецкое дворянство, которое, правда, в некоторых отношениях жило средневековыми традициями.

Затем другая причина заключалась в том, что латышское население было значительно распропагандировано возвратившимися выходцами из прибалтийских губерний в соседние страны и, между прочим, в Германию,—распропагандировано в смысле социалистическом и анархическом.

Поэтому, когда революционная волна освободительного движения тронула довольно ограниченных по натуре, но упрямых

и твердых по характеру латышей, то нигде в России возмутительная «киллюминация» помещичьей собственности не приняла таких размеров, как в Прибалтийском крае. Это вынудило меня возбудить вопрос об учреждении в этом крае (Курляндская, Эстляндская и Лифляндская губернии) временного генерал-губернаторства. Временным генерал-губернатором по моей инициативе был назначен генерал-лейтенант Соллогуб. Сначала это имя как будто встретило затруднение, но потом он встретил поддержку великого князя Николая Николаевича, а потому назначение состоялось.

Во время моего председательствования действиями генерал-лейтенанта Соллогуба я был доволен, так как он не боялся, не прятался, а с другой стороны, не давал разыгрываться бесшабашным проявлениям жестокости часто пьяной реакции.

В западные прибалтийские губернии были даны некоторые военные части из виленского военного округа, и затем, помимо меня, была назначена известная экспедиция еще более известного и мистериозного генерала Орлова, а в ревельский район войск послать было нельзя. Соллогуб просил у меня войск по телеграфу, а главнокомандующий великий князь и военный министр отвечали мне, что войск нет. Я как-то о таком положении вещей говорю морскому министру. Он мне ответил: «Знаете что, предложите сформировать батальон из тех моряков, которые взбунтовались в Петербурге, а теперь находятся под арестом в Кронштадте. Они будут отлично исполнять свою службу». На мои сомнения относительно того, не перейдут ли они к революционерам, он мне сказал: «Я назначу офицеров благонадежных, и поверьте мне, что здесь их могли направить на революцию, а там они будут самыми верными защитниками порядка».

Я просил морского министра доложить об этом государю. Его величество предложение адмирала Бирилева одобрил. Был сформирован батальон и отправлен в ревельский район усмирять революционеров. Через несколько дней я получил от генерал-губернатора Соллогуба телеграмму, в которой он сообщает о положении дела и, между прочим, просит меня воздействовать на капитан-лейтенанта Рихтера (сына почтеннейшего, ныне умершего, генерал-адъютанта Оттона Борисовича), дабы он относился к своим обязанностям спокойнее и законнее, так как он казнит по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц не сопротивляющихся. Я телеграмму эту, объясняющую общее положение дел, представил его величеству, и государь мне пернул ее с надписью на том месте, где говорится о действиях капитана-лейтенанта Рихтера: «Ай да молодец!» Затем государь меня просил прислать эту телеграмму и более мне ее не возвра-

шал. Когда же я оставил пост председателя, то государь был со мною особо ласков, а затем просил вернуть все записочки и телеграммы с его личными резолюциями и удивительными царскими сентенциями. Я их почти все вернул и, признаюсь, очень теперь об этом сожалею. В этих документах отражается душа, ум и сердце этого поистине несчастного государя, с слабою умственной и моральною натурою, но, главным образом, исковерканной воспитанием, жизнью и особенно ненормальностью его августейшей супруги. Несмотря на этого «молодца», которого потом испугались, я все-таки просил Бирилева вызвать Рихтера и сделать ему соответствующее внушение, что и было исполнено, но, может быть, одновременно из «Царского Села» ему было дано внушение иного характера.

Что касается экспедиции генерала Орлова, командира уланского ее величества императрицы Александры Феодоровны полка, то она была назначена помимо меня, и генерал-губернатор в крае на военном положении, Соллогуб, мне после говорил, что он употреблял все усилия, чтобы успокоить Орлова и не впустить его в Ригу, так как, если бы он попал в Ригу, — сказал Соллогуб, — то, наверное, спалил бы часть города и, главное, — пострадало бы много невинных. Вероятно, это была одна из причин, почему генерал Соллогуб был вынужден оставить пост генерал-губернатора через несколько месяцев после моего ухода и был заменен генералом Меллером-Закомельским, человеком решительным, но другого образа мыслей относительно универсальной пользы применимости репрессий.

Генерал Соллогуб, несомненно, один из наиболее образованных, умных и характерных офицеров русского генерального штаба. Что касается генерала Орлова, то это строевой, хороший, лихой и храбрый офицер (женившийся на богатой, скоро умершей) и затем весьма пристрастившийся к воспалительным средствам. Как выдающийся офицер, он получил Уланский полк императрицы, и тут началась обыкновенная (для императрицы Александры Феодоровны) мистерия спиритического характера. Началось с того, что она пожелала его женить на своей фрейлине Анне Танеевой, самой обыкновенной, глупой петербургской барышне, влюбившейся в императрицу и вечно смотрящей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами: «ах, ах!» Сама Аня Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста.

Генерал Орлов от сего удовольствия устранился. Произошло, как говорили, даже маленькое охлаждение... Аню Танееву императрица выдала замуж за лейтенанта Вырубова

Венчание Ани Танеевой с Вырубовым было особо торжественно в Царском Селе с малым выходом и плачем. Неутешно плакала императрица, так плакала, как не плачет купчиха напоказ, выдавая своих дочек. Казалось бы, могла ее величество удержать свои слезы для пролития в своих комнатах. За невестой в Петербург ездил царский поезд. Затем Аня целовала руку не только императрице, но и императору. Всю эту комическую историю со всеми удивительными подробностями мне рассказывал адмирал Бирилев, который был приглашен на свадьбу.

Не прошло и года, как Вырубовых развели.

Факт тот, что теперь Вырубов состоит офицером на каком-то военном судне все в плаваниях, а госпожа Вырубова, находясь без всякого положения, числится разведенною женою лейтенанта Вырубова, по интимности, скажу даже, исключительной интимности, самая близкая особа к императрице, а потому и в известном отношении и к императору.

За Аней Вырубовой все близкие царедворцы ухаживают, и не только они, но их жены и дочери, а она, Аня, устраняет им различные милости и влияет на приближение к государю тех или других политических деятелей. После развода Вырубовых сохранилась какая-то мистериозная связь между императрицей, Аней и генералом Орловым до его смерти, которая случилась с год тому назад. Еще недавно перед выездом императрицы в путешествие (август, сентябрь сего (1909) года) она ездила с Аней на могилу генерала Орлова в Петергофе, возила живые цветы, и обе там плакали, что я знаю чуть ли не от свидетеля этой сцены.

Затем были посылаемы и другие отряды, о которых я, как и об отряде генерала Орлова, обыкновенно узнавал *post factum*.

От кого эти отряды получали указания и кто был их инициатором, я в некоторых случаях совсем не знал; вероятно, иногда это делалось не без ведома и инициативы министра внутренних дел Дурново, но большею частью по инициативе местного военного начальства.

При такой дезорганизации власти отряды эти, по существу при смуте полезные и даже необходимые, часто своей необузданностью и отсутствием дисциплины являлись элементом государственного беспорядка, и я не мог иметь на них никакого направляющего объединительного влияния. Когда бесполезные и жестокие выходы начальников этих отрядов доходили до государя, то встречали его одобрение и, во всяком случае, защиту.

Я был солидарен с министром внутренних дел в том, что раз есть смута, выражающаяся в насилии и неподчинении законным требованиям властей, то против таких проявлений нужно мобилизовать силу, что мы должны прежде всего действовать морально своим присутствием, что если эта сила, т.-е. войска, встречает насилие, то это насилие должно быть подавлено силою, и, в этом случае, необходимо действовать решительно и энергично, без всякой сентиментальности. Раз же порядок восстановлен силою, затем не должно быть ни мести, ни произвола, должен войти в действие закон и законная расправа. Должен сознаться, что это в некоторых случаях не исполнялось. Военное начальство произвольничало, и я не только не имел власти воздействия, но зачастую все это делалось без всякой моей инициативы и моего влияния. Все это возбуждало общественное мнение, и понятно, что нарекания прежде всего падали на меня. Это также было одною из причин, почему я просил государя, когда я собрал первую Думу, накануне ее открытия освободить меня от премьерства. Об этом, бог даст, я буду еще иметь возможность изложить подробнее, приведя и соответствующие документы. Во всяком случае мой архив послужит освещением и освещением доказательным моих настоящих заметок, и не только освещением, но очень часто существеннейшим дополнением.

Варшавским генерал-губернатором состоял генерал-адъютант Скалон, который и занимал этот пост во все время моего председательствования. Я лично был с ним совсем незнаком, но по образу действия его и ознакомившись с ним по служебным делам, у меня осталось о нем воспоминание, как о человеке твердом, верном слуге государя, но человеке воспитанном и весьма корректных правил.

В Царстве Польском беспорядки, сопровождавшие почти во всей империи Японскую войну и начавшиеся еще несколько лет ранее этой войны и все усиливавшиеся по мере потери властью от неудач этой войны как морального престижа, так и фактической силы, вследствие отвлечения большинства войск за Байкал,—проявились с особливою интенсивностью. Беспорядки эти выражались в движении крестьян, вследствие чего не везде помещикам безопасно было жить в своих усадьбах, так особенно сильно в среде рабочих, как вследствие сравнительно большого развития в привислинских губерниях промышленности, так и по другим причинам.

Эти явления, которые имели место во многих местностях России, получили в Царстве Польском особую окраску и особую благоприятную почву вследствие так называемого польского

вопроса, до настоящего времени составляющего злобу дня, так называемого славянского дела.

В то время, как анархические и революционные течения в России встречали отпор в национально-русском патриотизме и консерватизме, основанном преимущественно на карманных интересах, так что в конце концов революция была подавлена, когда правительство дало возможность собраться консервативно-благоразумным течениям, — в Царстве Польском польско-национальный патриотизм, который, с одной стороны, имеет свои исторические традиции, а с другой — усиленный произволом русского бюрократизма, временно отодвигал все остальные течения, разъединяющие различные классы населения, и соединял большинство населения в стремлении прежде всего освободиться от русского влияния, т. е. в стремлении в большей или меньшей степени автономизироваться. На этой политической почве объединились почти все поляки, у всех в это время проснулась надежда «освободиться», разница в желаниях заключалась только в степени и объеме этого освобождения.

Были такие, которые мечтали довести освобождение до степени образования особого царства, соединенного лишь с империей в лице одного и того же монарха, но громадное большинство не шло далее освобождения до степени самостоятельности местного управления, а многие, преимущественно высшие и состоятельные классы, не шли даже далее того, чтобы получить одинаковые во всех отношениях права с русскими, не быть, как некоторые выражались, «неграми» и устранить произвол «чиновников-поповичей» (это особый тип, можно сказать, гениальное воспроизведение коего олицетворилось в Победоносцеве), но в результате все поляки, пользуясь положением момента, желали «освободиться», а потому сочувствовали русскому освободительному движению, которое появлялось часто в уродливых формах, между прочим, в значительном ослаблении чувства меры и разума, что все-таки великая Россия создавалась тысячелетнею славною историею (если бы она не была славною, то не было бы и великой России), а потому нужно ее (Россию) совершенствовать, но не давать на поругание и издевание кого бы то ни было, а в том числе и поляков, что освобождение от произвола чиновников и кретинизма дворцовой камарильи — это одно дело, а освобождение России самой от себя, от всей своей истории, от результатов всех своих исторических подвигов, от суммы своего исторического тысячелетнего бытия, от воспоминаний о реках крови, которые мы, русские, пролили, создавая самих себя в лице великой Российской империи, — это другое дело.

Когда я вступил на пост главы кабинета, я нашел в Царстве Польском такое состояние анархии, сопровождающееся ежедневными убийствами и анархическими высту-

плениями, что я чувствовал необходимость принять решительные меры.

Вследствие этого я снесся с генерал-губернатором о том, не считает ли он нужным объявить край на военном положении. Скалон, видимо, сам этого желал, но никто из власть имущих до 17-го октября не решался взять на себя инициативу. Итак, Царство Польское было объявлено на военном положении, что, к удивлению моему, возбудило более негодования в русских крайних «освободистах», нежели в массе поляков.

Мера эта на съезде русских общественных деятелей (земских и городских) вызвала порицание, как шаг не либеральный, а русским социалистам и анархистам послужила поводом объявить вторую забастовку на фабриках и железных дорогах, которая, впрочем, оказалась неудавшеюся. Этим протестам, исходившим из русских крайних сфер, я не придал никакого значения; единственно, что меня покорило, это то, что на съезде русских общественных деятелей явились представители Польши, известный адвокат (если не ошибаюсь) Дмовский и Врублевский, граф Тышкевич и другие (граф Тышкевич, затем вернувшись в Варшаву, продолжал вести резкую пропаганду своих крайних тенденций, а потому был выслан генерал-губернатором в северные губернии и затем, по моему предстательству, вместо северных губерний, был выслан за границу).

На этом съезде, при сочувствии громадного большинства русских общественных quasi-представителей Польши, протестовали против действий русского правительства, требуя автономию Царства Польского.

Эти речи поляков выдвинули Гучкова, который, будучи солидарен вообще с так называемыми общественными деятелями, образовавшими затем партию кадет, отнесся несочувственно к речам поляков. Эти самые поляки затем проездом через Петербург были у меня и убеждали меня снять военное положение. Сказанный граф мне ничего нового не сказал, кроме общих фраз и положений. Он мне лишь подтвердил то положение, в котором находилось тогда Царство Польское, которое мне было ясно из объяснений с другими весьма консервативными и благоразумными поляками-аристократами (например, графом Чапским), а именно, что тогда у всех поляков на первом плане была политическая идея освобождения от гнета России (вернее, от русской администрации известного пошиба) и что в стремлении к достижению этой цели происходило объединение всех поляков, несмотря на крайнюю противоположность их идей, интересов и воспитания (например, консервативнейшего поляка-магната, смотрящего на крестьянина, как на «быдло», и анархиста-демократа, видящего в собственности и в социальном неравенстве все зло человечества, зло, которое нужно уничтожить хотя бы

динамитом). Адвокат же представлял собою человека более мыслящего и серьезного. На мои вопросы он мне объяснил, что хорошо понимает, что отделение Польши от России, это недостижимая мечта, которая вызовет лишь много крови, что сознает также и то, что правительство не могло не принять решительные меры против всех тех эксцессов, которые происходят в привислинских губерниях, что продолжать терпеть ежедневные случаи политических убийств невозможно, но он затем мне держал такую приблизительно речь: «Но кому же мы таким положением вещей обязаны? Исключительно русским порядкам и русской культуре; оттого все поляки желают как можно более от вас отделиться. Рабочий вопрос давно существует в Царстве Польском, со всеми его крайностями, но он развивался общим эволюционным порядком, каким идет везде на Западе. Откуда же явилась зараза? От вас, русских. После погрома евреев, устроенного Плеве в Кишиневе и затем повторявшегося в других местах с соизволения правительственных органов, множество евреев, ремесленников и рабочих из России прибыло в Царство Польское, где режим относительно евреев более человеческий, нежели у вас. Они принесли с собою воинствующий злобный анархизм в рабочую среду, они принесли с собою методы борьбы бомбами и браунингами. Ваши русские евреи, явившиеся к нам, заразили наших евреев, как заражает своею дикостью дикое животное— животное домашнее, а у вас они не могут не быть дикими, ибо вы у них не признаете комплекта чувств человеческой природы.

«Наши школы все заражены политической и социалистической на соусе русского нигилизма пропагандою. Откуда же это к нам пришло? От вас, от ваших школьных методов, от ваших преподавателей, от ваших профессоров. Наши дети чтут своих родителей, свою семью, вообще старших, свой язык. Наши дети преклоняются перед божественностью своей религии, перед святостью ее догматов, перед совершенством своего языка, своей культуры, своей литературы, а по тому самому перед своей историей и верят в могущество своей национальности, они верят, что «еще Польшка не сгинела». Покуда вы не вздумали руссифицировать нашу школу, наводнять ее студентами из семинаристов русских губерний и бурсаками-преподавателями, предпочитающими служению богу служение мамоне, до тех пор во всех наших школах наши дети учились, и школы эти поддерживали в них те чувства и традиции, которые образуют крепкую нацию, но как только вы начали руссифицировать их, вы их развратили, нигилизировали, демократизировали, систематически колебля, вытравляя из ума и сердец наших детей то, что вы называете «польским духом». Вы взамен этого ничего им не дали и не дадите, кроме русского религиозного, государственного и политического нигилизма».

В конце концов, он меня убеждал в том, что все это старое, что с и с к р е н н и м проведением в жизнь начал, провозглашенных манифестом 17 октября, русские порядки будут другие (дай-то бог!!!), что польское общество это понимает и что необходимо пойти на путь, так сказать, примирения и начать с того, чтобы снять военное положение. Я снесся с генерал-губернатором, который мне ответил отрицательно, но в весьма достойной форме, заявив, что с снятием военного положения он должен будет уйти. Через несколько дней после этого приехал в Петербург директор канцелярии Скалона, Ячевский, сравнительно молодой человек, хорошо знающий край, не ненавистник поляков, человек благоразумно-либеральных идей, которого я знал, когда генерал-губернатором был еще князь Имеретинский, с которым я был дружен и который также был не человеко-ненавистник, а потому его поляки уважали. Этот директор канцелярии явился ко мне. Я, между прочим, сказал ему о моем предположении снять военное положение в Царстве Польском, думая, что я найду в нем полное сочувствие; к моему удивлению, он отнесся к моему предположению отрицательно, сказав мне между прочим: «Поверьте мне, граф, что вместе с нашей революцией много поляков с ума посходили, но громадное большинство поляков всем этим революционным эксцессам у себя дома не сочувствуют; мало кто из поляков решается это сказать, но большинство из них, т.-е. все те, коим есть, что терять, в душе будут недовольны снятием военного положения. До 17 октября и объявления военного положения,—продолжал он,—масса состоятельных поляков, а в особенности их семейства, поужезжала за границу, теперь, несмотря на военное положение, а, вернее, благодаря наступившему относительному спокойствию, они возвращаются к себе домой». Этот разговор меня остановил войти в разногласие с генерал-губернатором. Вся история с введением военного положения в Царстве Польском прошла без всякого прямого или косвенного воздействия из Царского Села, что также было довольно исключительно.

Из военных вспышек знаменательна была в первые месяцы моего председательствования вспышка Московского гренадерского полка, а затем восстание в Москве, разбитое энергией Дубасова.

Москва являлась центром этой смуты, которая привела к эксцессам 1905 года. Благодаря генерал-губернаторскому режиму честного, благородного, но недалекого великого князя Сергея Александровича, который всегда был водим своими обер-полицеймейстерами и, в конце концов, обер-полицеймейстером Треповым (впоследствии фактическим российским диктатором), вся Москва

представляла собою или явную или скрытую крайнюю оппозицию.

Представители дворянства—князя Долгоруковы, князь Голицын (бывший московский губернатор, а потом городской голова), князя Трубецкие (предводитель дворянства—с братьями известными университетскими профессорами) и проч. были в оппозиции и требовали ограничения самодержавия; земцы—Д. Н. Шипов (бывший председатель управы), Головин (его заменивший, как председатель управы, бывший затем председателем Государственной Думы) и другие тоже были в оппозиции и давали тон всему земству Российской империи, вся земская оппозиция сосредоточивалась в Москве и создала так называемые «съезды земских и городских общественных деятелей», которые требовали конституции и в которых братались Милюков, теперешний лидер кадет, крайне левый, находящийся на границе революционеров, и кадет Гучков (основатель партии 17-го октября и затем до последних дней марта 1911 года бывший председателем Государственной Думы, поклонник Столыпина, содействовавший созданию нынешней quasi-конституции, а, в сущности, скорее—самодержавия наизнанку, т.-е. не монарха, а премьера), братья Стаховичи (из которых один кадет, а другой—Михаил Александрович, прекраснейший человек, ныне член Государственного Совета от земства и находящийся в левых его рядах), Герценштейн (погибший от рук убийц, снаряженных «союзом русского народа» при благосклонном участии охранного отделения, представитель принудительного отчуждения земель в пользу крестьян), Набоков (сын бывшего министра юстиции, нынешний соиздатель газеты «Речь», бывший доцент училища правоведения, член первой Государственной Думы), и проч., и проч.

Эти съезды составляли главный штаб российской оппозиции, создавшей так называемую революцию 1905 года. Представители знатного московского купечества требовали также ограничения самодержавия. Морозов дал через актрису, за которой ухаживал, сожительницу Горького, несколько миллионов революционерам; помню, когда я еще был председателем комитета министров, до поездки моей в Америку для заключения мира—в начале 1905 года—как-то вечером Морозов просит меня по телефону его принять. Я его принял, и он мне начал говорить самые крайние речи о необходимости покончить с самодержавием, об установке парламентарной системы со всеобщими прямыми и проч. выборами, о том, что так жить нельзя более и т. д.

Когда он поуспокоился, зная его давно и будучи летами значительно старше его, я положил ему руку на плечо и сказал ему: «Желая вам добра, вот что я вам скажу—не вмешивайтесь во всю эту политическую драму, занимайтесь вашим торгово-промышлен-

ным делом, не путайтесь в революцию, передайте этот мой совет вашим коллегам по профессии и, прежде всего, Крестовникову» (он тогда уже был председателем биржевого комитета или был кандидатом на этот пост). Морозов, видимо, смутился, мой совет его отрезвил, и он меня благодарил. После этого я его не видел. Он попался в Москве; чтобы не делать скандала, полицейская власть предложила ему выехать за границу. Там он окончательно попал в сети революционеров и кончил самоубийством.

Уже после 17 октября, когда я занял пост премьера, и мы занимались переменою выборного закона и установлением нового положения о Государственной Думе и Государственном Совете, в начале 1906 года, во время страшного государственного финансового кризиса вследствие войны, когда финансовый устой—золотая валюта была поставлена на карту и зависела от того, заключу ли я заем или нет, т.-е. даст ли нам Европа денег, чтобы выйти из трудного положения или нет, то как-то Крестовников просил меня его принять. Он явился ко мне и от имени московского торгово-промышленного мира жаловался на то, что государственный банк держит весьма высокие учетные проценты, и просил приказать их понизить. Зная хорошо положение дела, я ему объяснил, что ныне понизить проценты невозможно, причем я ему не считал нужным объяснить о трудности положения дела до того времени, пока мне не удастся заключить заем. После такого моего ответа Крестовников схватил себя за голову и, выходя из кабинета, кричал: «Дайте нам скорее Думу, скорее соберите Думу»... и как шальной вышел из кабинета.

Вот до какой степени тогда представители общественного мнения не понимали положения дела. Тогда уже новый выборный закон был известен, и вот представитель исключительного капитала воображал, что коль скоро явится первая Дума, то она сейчас же займется удовлетворением карманных интересов капиталистов. Все умеренные элементы и в том числе колоссальный общественный флюгер—«Новое Время», твердили: «Скорее дайте выборы, давайте нам Думу».

Когда же Дума собралась и увидели, что Россия думает, а первая Дума, конечно, представляла собою больше Россию, нежели третья, основанная на выборном законе, устранившем от выборов почти всю Россию и передавшем выборы в руки только преимущественно «сильных» и полиции, т.-е. усмотрения начальства, то тогда эти умеренные элементы, с умеренным пониманием вещей, ахнули и давай играть в попятную, чем занимаются и поныне ¹⁾).

¹⁾ * Июль месяц 1911 года, Биарриц. В России писать не могу, в виду Столыпинского режима*.

Итак, Москва представляла собою гнездо, откуда шли все течения, приведшие к революции 1905 года, а потому естественно она обращала на себя мое внимание. В министерстве внутренних дел никаких сведений о состоянии Москвы не было, что было естественно, так как это министерство было до того времени в руках генерала Трепова, бывшего московского обер-полицеймейстера, а в сущности, неограниченного правителя Москвы благодаря доверию к нему великого князя, и Трепов, конечно, воображал, что «что-что», а уж что делается в Москве, ему известно досконально.

О тех чисто революционных, анархических стремлениях, которые там имели место, мне сделалось известным благодаря одной совершенной случайности. Тот же источник давал мне сведения в течение всего моего премьерства. Но, даже не имея никаких секретных сведений, достаточно было следить за общественной жизнью Москвы и прессою для того, чтобы видеть, что там бурлит.

Когда я принял премьерство, в Москве генерал-губернатором был П. П. Дурново, а обер-полицеймейстером Медем. Генерал-адъютант Дурново (не имеющий ничего общего с П. Н. Дурново, управляющим министерством внутренних дел) был богатейший человек, когда-то он был харьковским губернатором (при графе Лорис-Меликове), потом директором департамента уделов министерства двора (при графе Воронцове-Дашкове) и затем гласным петербургской думы и председателем ее.

Все эти должности он занимал просто для карьеры, так как не нуждался ни в средствах, ни в положении в обществе. Он был человек неглупый, но больше на словах, нежели на деле. Любил говорить, спорить, но никаким делом серьезно заниматься не мог.

В царствование императора Александра III, после того, как он был начальником уделов, он сошел со сцены государственной деятельности. Затем, при императоре Николае II, через графа Сольского¹⁾ сперва попал членом Государственного Совета, а после убийства великого князя Сергея Александровича— московским генерал-губернатором, когда я уже был председателем комитета министров и находился в первой опале, потому что, будучи министром финансов и влиятельным государственным деятелем, не соглашался с политикою, поведшей к Японской войне.

¹⁾ * Вернее, через графиню Марию Александровну Сольскую, которая своего старика-мужа совсем держала в руках *.

Что касается генерала Медема, то это был самый обыкновенный жандармский генерал и выдался тем, что был женат на певице

Я лично очень мало знал П. П. Дурново, но достаточно также его знал, чтобы понимать, что он не может ни своею личностью, ни своим характером, ни своими знаниями, ни, наконец, своим прошедшим внушить какой бы то ни было престиж в какой бы то ни было партии или общественной группе. С первых же дней после 17-го октября он сейчас же растерялся, выходил на балкон своего генерал-губернаторского дворца и растерянно, будучи в военной форме, снимал совсем невпопад шапку, чуть ли не (как мне передавали) перед красными флагами, говорил невпопад речи. Это мое мнение я сейчас же передал его величеству. Но затем совершенно случайные обстоятельства дали мне возможность скоро узнать, что в Москве в действительности еще более беспокойно, нежели это казалось по внешности—по прессе, по митингам и некоторым искрам, выходящим наружу. От департамента полиции я, конечно, никаких сведений не имел, так как вообще к этому учреждению никаких отношений не имел. Министр внутренних дел ничего мне о Москве не говорил, он сетовал только на то, что вообще секретная полиция находится в полном расстройстве; что же он под этим понимал—я не знаю. Относительно Москвы, впрочем, я скоро убедился, что он действительно не знал, что там творится.

Когда я служил в комиссии графа Баранова, то познакомился в Петербурге с одним из влиятельных чиновников этой комиссии. У него в доме я встречал девицу—сестру его жены (кажется, впрочем, гражданской). Затем, когда я переехал в Киев и стал управляющим юго-западными дорогами, то ко мне явилась эта девица в слезах и просила дать ей возможность честно зарабатывать кусок хлеба. Я ее поместил в одну из многочисленных канцелярий управления. После этого я ее не встречал и вскоре опять перешел на службу в Петербург директором департамента железнодорожных дел. Вот через несколько недель после 17-го октября явилась ко мне одна дама, которая представилась, как жена московского мирового судьи Ч., очень почтенного человека и старца. Я в ней узнал сказанную выше девицу. Она мне объяснила, что вскоре после моего отъезда из Киева она вышла замуж за довольно состоятельного помещика, который изрядно протранжирил свое состояние и умер, оставив ей сына, что, живя в Киевской губернии, в деревне, она познакомилась с соседкой, очень богатой женщиной. После смерти ее мужа она переехала в Москву, где познакомилась с мировым судьей и вышла за него замуж. Хотя он гораздо старше ее, но они

отлично живут. Через короткое время умер и муж ее подруги и оставил ей порядочное состояние; она также переехала в Москву, потому что она там влюбилась до чертиков в одного молодого помещика, присяжного поверенного (забыл фамилию); сей молодой человек находится в центре революционного движения, а потому она из разговоров с ее подругой знает все, что там делается. Сей молодой человек от своей подруги ничего не скрывает, и она отдала почти все, что имела, этому молодому человеку, а он на «товарищеское» революционное дело. Вот она знает, что в Москве готовится форменное восстание со всеми атрибутами—баррикадами и проч.; революционеры отлично знают, что полиция, в сущности, ничего не знает, и спешат дать удар, покуда Москва находится в полном расстройстве с деморализованной и испуганной администрацией и не менее испуганным и деморализованным войском, при этом находящимся в очень малом количестве. Она приехала мне все это рассказать, с одной стороны желая мне отплатить добром за то, что я ее спас в Киеве, когда ей ничего не оставалось, как погибнуть, а с другой стороны, желая спасти и свою подругу, так как ее можно будет спасти только, если сказанный молодой человек скроется, а оставаясь в Москве, он погибнет и она с ним.

Подробности ее рассказа заставили меня вторично просить государя назначить кого-либо генерал-губернатором из лиц, более надежных в таких трудных обстоятельствах, и одновременно я написал государю, можно ли рассчитывать на войсковое начальство. Государь мне по вопросу о командующем войсками ответил, что он вполне полагается на почтенного старца генерала Малахова. Что же касается генерал-губернатора, то при первом свидании он меня спросил, кого полагал бы я назначить генерал-губернатором. Я ответил—генерал-адъютанта Дубасова, как человека такого твердого характера, на коего можно вполне положиться. Государь меня спросил: «А как бы вы думали, если назначить Булыгина?» (бывшего при диктатуре Трепова министром внутренних дел). Я ответил его величеству, что считаю Булыгина человеком весьма достойным и, может быть, соответствующим генерал-губернатором в Москве, потому что его там хорошо знают, и он хорошо знает Москву. Тем дело кончилось, и перемен никаких не произошло. Между тем, революционная волна в Москве все более и более подымалась, и я имел из объясненного источника все более и более тревожные сведения. Это меня заставило обратить внимание министра внутренних дел Дурново на сказанного молодого человека в Москве.

Через несколько дней, как я узнал от сказанной госпожи, у него был сделан обыск, но еще за сутки вперед он был предупрежден полицией, что у него будет обыск,

а потому все, что могло компрометировать, было или уничтожено, или скрыто.

Приблизительно в это время произошел в Москве крестьянский съезд. О том, что будет такой съезд, я узнал из газет. Я телеграфировал генерал-губернатору, прося его обратить внимание на этот съезд, так как из газет было совершенно ясно, что к съезду этому в значительной степени прилепились такие элементы, которые если и интересуются благополучием крестьян, то, главным образом, для них крестьянский съезд служит боевым революционным оружием.

Я никакого ответа от генерал-губернатора не получил; на другой день съезд открылся. Судя по газетам, там происходили выступления чисто революционного характера, и через несколько дней съезд сам по себе закрылся, когда достаточно протрубили революционные мотивы. Только после закрытия съезда я получил от генерал-губернатора телеграмму, что съезд закрылся.

Все подобные попустительства творились под волшебным влиянием динамитных бомб.

Сколько в последние годы мне пришлось встречать людей в прессе (не далее, как старик и сын Суворин, которого фельетонист Дорошевич прозвал для краткости С. С.), в правительстве, в обществе, которые теперь кричат, что в то время «правительство ушло», «бездействовало», «перепугалось», и которые именно в то время и составляли стаю пугливых ворон, которые освободительному движению не сочувствовали, боялись за свой карман и свои привилегии, но не только не имели мужества идти против него, не только молчали, но исподтишка ему подмигивали, боясь как-нибудь не попасть под удары революционных бомб и пули браунингов...

На 9-е ноября было назначено заседание совета под председательством его величества в Царском Селе, как выразился в записочке ко мне государь, «для личного доклада министра юстиции в присутствии совета». Как оказалось потом—для устройства похорон министру юстиции, честнейшему и прекраснейшему человеку и юристу С. С. Манухину, но об этом мне еще придется говорить далее.

За несколько дней до этого заседания я уже начал получать из московского источника самые тревожные сведения. После заседания я пошел за государем и сказал ему, что необходимо немедленно назначить в Москву решительного и твердого человека, иначе я не ручаюсь, что Москва не попадет во власть революционеров, и наступит анархия, что это необходимо сделать немедленно.

Государю, видимо, было неприятно, что я его остановил, но он мне все-таки любезно сказал, что Булыгин от предложения отказался, находя себя для данного момента в Москве неподхо-

дящим, и тогда его величество меня опять спросил: «Кого же вы предлагаете?» Я опять ответил, что никого не знаю, кроме Дубасова, и уже энергично прибавил: «Позвольте вызвать Дубасова (он был в Курской губернии) и предложить ему немедленно занять пост московского генерал-губернатора». Его величество ответил «хорошо». Я сейчас же телеграфировал Дубасову, чтобы он немедленно вернулся и явился государю. Через несколько дней он уже был у меня, и я ему предложил скорее уехать в Москву и вступить в должность. Он туда и приехал за несколько дней до того момента, когда московское восстание начало разыгрываться. При назначении Дубасова я заметил, что он относился к Дурново не то что недоверчиво, но как-то несимпатично, если не употребить более энергичного выражения «гадливо». Он меня просил по важнейшим делам переговариваться со мною по телефону непосредственно, на что я охотно согласился. Дурново к назначению Дубасова отнесся как-то равнодушно. О том, как отнесся Трепов, я не знаю, но, вероятно, довольно отрицательно, так как только этим я могу объяснить какую-то нерешительность государя в назначении Дубасова. Через самое короткое время по приезде Дубасова в Москву он меня вызвал по телефону и сказал, что хотя он и доверяет вполне здешним войскам и военному командованию (потом при свидании со мною сказал, что, приехавши в Москву, он убедился, что на войска и командование положиться нельзя, но, чтобы не компрометировать военной власти, он сказал иное), но что войск там мало, что он настоятельно требует усиления военной силы из Петербурга и просил моего настоятельного содействия.

Я обратился по телефону к военному министру, который мне ответил, что выслал полк из Царства Польского, и что он через три дня будет в Москве. Прибытие этого полка несколько запоздало, так как революционеры еще далеко от Москвы спустили с рельс несколько вагонов поезда, стремясь подвергнуть поезд с одним из эшелонов этого полка крушению. Но еще до прибытия этой военной части в Москву Дубасов опять меня вызвал по телефону и просил настоятельного моего содействия, чтобы были немедленно высланы войска из Петербурга, что иначе город перейдет в руки революционеров, что войск мало, еле хватит охранять железнодорожные вокзалы, так что самый город остается собственно без войска. Он мне сказал, что он обратился непосредственно с такою же просьбою в Царское Село, но что ему не отвечают.

Чтобы не терять времени, я немедленно вызвал по телефону генерала Трепова и просил его сейчас же пойти к государю и доложить ему, что я считаю безусловно необходимым выслать экстренно войска в Москву, что если город Москва перейдет в руки революционеров, то это будет такой удар правительству его вели-

чества, который может иметь неисчислимо дурные последствия. К вечеру Трепов мне передал, что государь просил меня лично поехать к великому князю главнокомандующему и уговорить его послать войска в Москву.

Я приехал к великому князю поздно вечером и уехал домой поздно ночью. Приехав, я вкратце объяснил положение Москвы и настаивал на необходимости экстренно послать туда войска из Петербурга. Великий князь сначала ссылаясь на то, что уже пришел, или с часа на час придет полк из Царства Польского. Он признавал, что в Москве войск мало и что они деморализованы, а потому на энергичные действия их рассчитывать невозможно, но, тем не менее, не считал возможным уделить из своего округа ни одного солдата. Его соображения почти буквально были таковы: «При теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывают государь и его августейшая семья, что у него на это теперь достаточно войск, но в обрез; если он уделит хотя малую часть, то в случае, боже сохрани, восстания в Петербурге и его окрестностях, войск не хватит. Что же касается Москвы, то пусть она пропадает. Это ей будет урок. Когда-то Москва была действительно сердцем и разумом России, теперь это центр, откуда исходят все антимоноархические и революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву разгромят, не произойдет». Я старался ему возражать, но довольно безуспешно. Я ему сказал, что касается охраны Петербурга и его окрестностей, то я могу его уверить, что никакого восстания ни в Петербурге, ни в его окрестностях не произойдет, что доходящие до него противоположные слухи только показывают, что у страха глаза велики, и что в виду лежащей на мне ответственности я настаиваю на том, чтобы были посланы немедленно войска в Москву.

Во время этого разговора, уже когда было за полночь, вдруг появился адъютант великого князя, который доложил, что от государя получился на имя великого князя с фельдъегерем пакет. Это была маленькая записочка. Великий князь прочел и сказал мне: «Государь меня просит послать войска в Москву, поэтому ваше желание будет исполнено». Я просил сделать это скорее, так как в противном случае это может быть поздно, и удалился. Вернувшись домой, я передал по телефону Дубасову, что войска из Петербурга будут высланы, что я надеюсь, что восстание будет энергично подавлено; при этом я его спросил, почему его так трудно добиваться по телефону? Он мне ответил, что в последнее время он все время ездит на заседания к командующему войсками округа. Я спросил, почему он не

делает заседания у себя? «Потому,—ответил Дубасов,—что командующий войсками по старости и болезненности не выезжает из своего помещения, так же поступает его помощник, начальник штаба, и другие, а их помещения, большею частью казенные, сосредоточены в помещении или около помещения округа».

Затем, в силу действующих законов, я уже в дело усмирения московского восстания не вмешивался. Великий князь экстренно отправил, кажется, в двух поездах, большую часть семеновского полка под командою генерала Мина, кажется, около сотни кавалерии и несколько пушек, на случай, если при движении поездов встретится препятствие.

Из того, что я слышал, я составил себе впечатление, что, так как местные гражданские власти до приезда Дубасова и военные во все время раскисли, то и подавление смуты было произведено непланово, и после того, как уже было ясно, что вспышка восстания подавлена, с излишнею в некоторых случаях жестокостью со стороны чинов семеновского полка. Но не я им решусь даже теперь произнести слова хуления. Войдите и в их положение. Их взяли, неожиданно отправили в неизвестную им местность, оставили без плановых распоряжений, поставили их под различные опасности, и затем говорят, тут можно бы было и не стрелять, а тут напрасно убили такого-то или таких-то. Если кто виновен, то виновны те, которые не приняли заблаговременно надлежащих мер и раскисли, допустили деморализацию войск и сами только изрекали громкие слова из-за кустов. Несомненно, что единственный начальник, который не потерял головы и духа в Москве, был адмирал Дубасов; его мужество и честность спасли положение. Но он был не только мужественно и политически честен, но был и остался истинно благородным человеком ¹⁾.

Как только было погашено восстание, что продолжалось несколько дней, он сейчас же написал государю, прося поставить на всем крест и судить виновных обыкновенным порядком и обыкновенным судом. Одновременно петербургские войска

¹⁾ Вариант: Генерал Мин был затем убит анархистом по возвращении полка в Петербург на Петергофском вокзале. Генерала Мина я лично никогда не видал, говорил с ним только раз по телефону сейчас после 17 октября во время беспорядков около технологического института. Действия генерала Мина в Москве я одобряю. По моему убеждению, революционные действия силою следует подавлять силою же. Тут не может быть ни сентиментальности, ни пощады, но коль скоро революционные действия или вспышка подавлены, продолжение пролития крови и, в этих случаях иногда, крови невинных, есть животная жестокость. К сожалению, когда вспышка восстания в Москве была подавлена, генерал Мин продолжал допускать жестокости бесцельные и бессердечные.

были возвращены обратно. Государь спросил мнение министра внутренних дел Дурново относительно желанья Дубасова. Дурново высказался, что нужно судить военным судом. Государь тогда просил меня высказаться, я присоединился, конечно, к мнению Дубасова. И до тех пор, пока я и затем Дубасов не ушли, виновные были привлечены к ответственности и судились на основании общих законов.

Во всем деле погашения московского восстания, таким образом, Дурново не принимал деятельного участия, главным образом потому, что Дубасов был выбран не им и не питал к нему, Дурново, ни надлежащего уважения, ни доверия. По крайней мере, когда в те времена я заговаривал с ним о Дурново, он о нем отзывался довольно кисло. Теперь поклонники Дурново приписывают погашение восстания ему, а он скромно молчит.

Затем, как известно, Дубасову бросили бомбу в его экипаж. Рядом с ним находившийся его адъютант, граф Коновницын, был убит; кажется, той же участи подвергся его кучер. Дубасов после моего ухода сам оставил пост генерал-губернатора. Государь его не преследовал так, как он умеет преследовать, хитро, хотя хитростью, шитою белыми нитками, но был к нему довольно холоден, вероятно, потому, что Дубасов, хотя и редко, но имел случай высказывать ему мнения, довольно идущие против его шерсти. Когда Дубасов был назначен генерал-губернатором, я просил его величество назначить его и членом Государственного Совета для того, чтобы на случай, если он должен будет покинуть этот пост, он имел определенное положение. После усмирения восстания в Москве государь мне написал: «Прошу вас, граф, совместно с министром внутренних дел составить проект рескрипта на имя московского генерал-губернатора. Кроме благодарности, должно быть выражено поощрение на будущее время и назначение в члены Государственного Совета». Такой проект, но без поощрения на будущее время, был представлен, но не вышел. Не потому ли, что Дубасов настаивал вместе со мною, чтобы, усмирив восстание, поставить крест и судить всех общим порядком, т.-е. без смертных казней?

В конце концов, когда я, а со мною все министерство ушло, то в скором времени ушел и Дубасов. Причиной ухода его было то, что он был контужен взрывом динамитной бомбы, но, вероятно, он остался бы, если бы к нему отнеслись особо милостиво. Повидимому, его не особенно удерживали свыше, и я думаю, что отчасти потому, что Дубасов не пожелал военных судов. Помилуйте, ведь это слабость... А я скажу, что применение безобразных военных судов так, как они поставлены, в особенности со

времени Столыпина, после того, как экстраординарные действия, могущие вызвать такие суды, погашены и даже забыты, есть величайшая и бессмысленная, недостойная для государства месть и проявление мелких, трусливых и злобных душонок. Я уверен, что история заклеит правление императора Николая при Столыпине за то, что это правительство до сих пор применяет военные суды, казнит без разбора и взрослых и несовершеннолетних, мужчин и женщин по политическим преступлениям, имевшим место даже два, три, четыре и даже пять лет тому назад, когда всю Россию свел с ума бывший правительственный режим до 17 октября и безумная война, затеянная императором Николаем II. Анархисты же не забыли Дубасову его усмирение Москвы.

Через год, когда он был в Петербурге членом Государственного Совета и гулял в Таврическом саду, в него почти в упор стрелял из браунинга юноша. Дубасов оказался невредим, юноша был сейчас же схвачен и сейчас же заявил, что он с одним участником анархистом назначены для отплаты Дубасову за подавление московского восстания. Я узнал об этом покушении почти сейчас же и приехал вскоре к Дубасову. Он был совершенно покоен и только беспокоился, что этого юношу, который в него стрелял, будут судить военным судом и, наверное, расстреляют. Он мне говорил: «Я не могу успокоиться, так передо мною и стоят эти детские бессознательные глаза, испуганные тем, что в меня он выстрелил; безбожно убила таких невменяемых юношей». Он прибавил: «Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим порядком».

На другой день я опять был у Дубасова, и Дубасов прочел мне ответ государя. Ответ этот удивительный, написан собственноручно, складно... не знаю, как сказать, иезуитски или ребячески. Государь любезно поздравляет Дубасова с тем, что он остался цел, говорит несколько любезных фраз, а по существу просьбы Дубасова, пренаивно говорит, что никто не должен умалять силу законов, что законы должны действовать как бы механически, и то, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого и ни от него—государя императора.

Одним словом, закон должен быть превыше его, и он ему подчиняется. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им—императором Николаем II. Весьма недавно (несколько месяцев тому назад), после того, когда Государственная Дума подобный закон отменила, его провели, как военное законодательство, помимо законодательных собраний. Точно его величество в то же время не только не миловал осужденных из шайки крайних правых, уби-

вавших «жидов» и лиц прогрессивного направления, а еще чаще просто эти лица, заведомые убийцы и организаторы покушений, не находились полицией или не привлекались к судебному следствию... А государю разве это не было отлично известно?..

Кстати, чтобы закончить рассказ о московском восстании, вернусь к этому молодому помощнику присяжного поверенного. После, из того же источника, о котором я ранее говорил, я узнал, что он со своею дамой во-время покинули Москву и поселились у знакомого помещика около Москвы. Полицейские агенты поехали их арестовать. Прислуга помещика ранее пригласила их в трактир попить чаю. Во время питья чая сей господин, а затем и его дама бежали и очутились потом за границею *.
